

ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ, РЕФЕРАТЫ

М.М. КИРИЧЕНКО

СТРУКТУРАЛИЗМ ПРАЖСКОГО КРУЖКА И ЕВРАЗИЙСТВО: ОБЗОР КНИГИ ПАТРИКА СЕРИО «СТРУКТУРА И ТОТАЛЬНОСТЬ»

Кириченко Михаил Михайлович — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Северо-Кавказского центра Института социально-политических исследований РАН. **Адрес:** 350000 Краснодар, ул. Чапаева, д. 54. **Телефон:** (612) 650–888. **Электронная почта:** kirichenko_m@mail.ru

Книга профессора отделения славистики Университета Лозанны Патрика Серิโอ «Structure et totalité» сразу же после выхода в свет привлекла внимание широкого круга специалистов [1]. П. Серิโอ хорошо известен в российском профессиональном сообществе как интересными переводами [2, 3], так и оригинальными исследованиями по интеллектуальной истории. Рунет оперативно отреагировал на новинку. «Российский журнал» опубликовал аналитическую статью С. Зенкина [4], на сайте «Русской мысли» помещена рецензия М. Никё [5].

Работы П. Серิโอ выходят за рамки истории лингвистики и имеют исключительно важное значение для истории идей, теоретической социологии и, в частности, социологии знания. «Лингвистический поворот» в философии XX века выдвинул на первый план изучение роли языка в конституировании социальных порядков и взаимодействии культур. «Структура и тотальность» примечательна прежде всего систематическим изложением идей Пражского кружка (Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Р.О. Якобсона), в котором сформировалась концепция евразийства. Помимо известных работ пражан, в книге используются малоизвестные источники — дневниковые записи, письма, архивные документы. Хотя евразийские воззрения получили значительное распространение и широко обсуждаются в современной обществоведческой литературе (прежде всего политологической) [6, 7, 8, 9], органическая связь евразийства с лингвистическими идеями Пражского кружка столь ясно и отчетливо продемонстрирована впервые.

Исследование интеллектуальных истоков структурализма в Центральной и Восточной Европе предполагает обращение к широкому культурно-историческому контексту начала XX столетия. Автор исходит из того, что

некоторые стороны евразийства объясняются исключительно русской интеллектуальной историей, другими своими сторонами евразийство вписывается в общеевропейский спор, развернувшийся по окончании Первой мировой войны (р. 75). Таким образом, Пражский кружок являет собой своеобразную область пересечения (и, может быть, столкновения) российской и европейской интеллектуальных традиций. Как отмечает П. Серио, Пражский кружок обычно выпадает из истории европейского структурализма. Более того, в глазах некоторых западных исследователей даже само отнесение «пражских русских» к структуралистскому течению далеко не бесспорно. Автор называет «евразийскую лингвистику» утраченным звеном в истории структурализма (р. 79). В 20–30-х годах мало кто обращал внимание на формирующийся в Праге «восточный вариант» этого течения, тем более, что сами пражане стремились отделить себя от некоторых структуралистских школ, например, Женевской. В итоге членам Пражского кружка была приписана совершенно несвойственная им «научная генеалогия»: во многих исследованиях по истории лингвистики такие различные направления, как глоссемантика Ельмслева, фонология Трубецкого, работы Куриловича, общая грамматика Хомского оказались объединены общей «точкой отсчёта» — интеллектуальным наследием Соссюра. Из-за недостаточного знакомства западных историков науки с наследием евразийцев члены Пражского кружка, с иронией отмечает П. Серио, подобно г-ну Журдену, сами того не подозревая, оказались соссюрианцами. Причисление Трубецкого к числу последователей Соссюра состоялось потому, что его «Основы фонологии» — «единственная работа, действительно прочитанная на Западе, — явственно опирается на соссюровское противопоставление язык–речь с целью обоснования различий между фонетикой и фонологией» (р. 21).

П. Серио следующим образом формулирует свои исследовательские задачи: «Из чего рождается научная новизна? Чему мы её приписываем? Было ли новым (здесь и далее выделено автором. — М.К.) то, что писали Якобсон и Трубецкой? Действительно ли структурализм Пражского кружка установил разрыв с предшествовавшим? Можно ли определить глубину разрыва? Создали ли Якобсон и Трубецкой бесконечность научного дискурса?.. Если из-за сложности очертить чёткие временные границы между парадигмами использование этого понятия в лингвистике малоупотребимо, то каковы пространственные границы того, что в первом приближении можно назвать научными культурами?..<...> Речь идёт о выявлении генезиса, трудного рождения понятия структуры, исходя из другого, а именно романтического понятия тотальности через третье: понятие организма в пражском структурализме...» (р. 1-2). Немаловажно и то обстоятельство, что история европейского структурализма и, в частности, история Пражского кружка сама содержит в себе зародыш потенциального недоразумения, которое заключается в двойственном толковании ключевого термина «структура»: «в качестве онтологической тотальности и в качестве системы отношений, некоего реального объекта и объекта познания» (р. 22).

Чтобы объяснить недоразумения, возникшие вокруг наследия «русских пражан» («Чтение текстов Трубецкого и Якобсона подобно расшифровке палимпсеста»), П. Серио вводит понятия *air du temps* и *air du lieu* — «дух

времени» и «дух места». *Air du temps* представляет собой «выходящие за пределы научных дисциплин течения современной мысли, которые... ни в коей мере не эксплицитны, не изложены, не восприняты» (р. 23). Автор объясняет *air du temps* понятием, родственным и гётевскому *Zeitgeist*'у, и аристотелевской *δόξα*. Несомненно, в этих концептуализациях присутствует значительная доля неопределенности, и некоторые рассуждения П. Серию, опирающиеся на понятия *air du temps* и *air du lieux*, напоминают решение уравнения, в котором неизвестны все переменные. Может быть, автор прав в том, что «несчастье — или очарование — работы лингвистов заключается в невозможности договориться о смысле употребляемых слов» (р. 183).

Понятие *air du lieux* обозначает пространственную, географическую и социальную среду, задающую характер научного дискурса и накладывающую отпечаток на интеллектуальные поиски учёных в рамках определенной культуры или страны. Правда, при анализе, к примеру, непростых и противоречивых — вплоть до противостояния — взаимоотношений парижских и пражских евразийцев этот термин не употребляется, однако в сравнительном описании наследия Трубецкого и Марра *air du lieux* играет весьма значительную роль. Вообще, использование «духа места» и «духа времени» в качестве объясняющих описаний может приводить к постулированию принципиальных различий там, где различия должны быть еще доказаны. П. Серию — последовательный противник Трубецкого относительно противостояния «евразийского» и «романо-германского» миров. Но, кажется, апелляция к двум «духам» (места и времени) основана на аналогичном предположении о *differentia specifica* там, где просто различаются места пребывания авторов идей и время, в которое они жили.

Введение *air du temps* и *air du lieux* потребовалось П. Серию для решения главного в его исследовании вопроса: установления реальности локальных эпистем, а также критериев, принципов их выделения и границ, их разделяющих. В первую очередь речь идёт, естественно, о понимании роли и места «русской науки» членами Пражского лингвистического кружка. П. Серию отмечает, что вопрос о правомерности выделения русской (советской) лингвистики как оппозиции лингвистике западной носит не просто академический интерес. В развернувшемся сегодня «идентификационном дискурсе» и поиске «национальной идеи» (хорошо известно, насколько эта тема способна отклоняться от чистой науки в сторону политической злобы дня) проблема «особности» России и её исторического пути является ключевой. Автор «Структуры и тотальности» формулирует свою позицию с кристальной ясностью: «В противовес наблюдаемому сегодня в России крайнему культурному релятивизму, стремящемуся превратить русскую культуру в феномен, существенно и глубинно отличный от прочих, мы выдвинем тезис: российская лингвистика по сравнению с «западной» не обладает иной природой, но имеет общие с ней корни в виде греческой метафизики Платона и Аристотеля и не является “закрытым историко-культурным типом”» (р. 25). Исследовательская задача формулируется П. Серию следующим образом: «Эта работа претендует на сведение лингвистической теории к историческим условиям её производства, оценку взаимодействий, возникающих между соседствующи-

ми теориями или дискурсивными полями, восстановление *air du temps* и *air du lieux*, в которые вписывается порядок научной мысли» (р. 27).

Указывая на своё несогласие с позицией Альтюссера, радикально разделяющего науку и идеологию (особенно применительно к социолингвистике), П. Серио заявляет о намерении рассмотреть евразийскую лингвистику с учётом «идеологической составляющей». В книге выдвигается двойной тезис: «(1) структурализм «пражских русских» может быть объяснён, может обрести настоящий смысл лишь в свете идеологических дебатов своего времени, он вписывается в значительно превосходящую его рамки культурную историю; (2) противостояние таких двух прямо противоположных идеологий, как Просвещение и Романтизм определяет две крайние, биполярные теоретические позиции. В действительности между этими двумя полюсами имеют место постоянное поступательно-возвратное движение, заимствования, новые интерпретации, возвращения, недоразумения...» (р. 29).

Решение своей задачи П. Серио начинает с детального описания евразийства, вероятно, мало знакомого западной аудитории. Подробно излагаются перипетии становления и развития евразийского движения, его связи со славянофильством. Научная беспристрастность изменяет автору лишь тогда, когда он касается противопоставления у Трубецкого евразийского и романо-германского миров. «Обвинения, которые евразийцы выдвигали против «Запада», касались преимущественно психологических черт, того, что сегодня называют «ментальностью»: эгоизма, индивидуалистической тенденции западного человека защищать свои личные права... Их (евразийцев. — М.К.) глубокое неприятие западноевропейской культуры проявлялось в глубинно враждебном отношении к её основополагающим принципам, особенно к понятию демократии и выведению на первый план индивидуальной личности» (р. 47). Представляется, что П. Серио несколько сместил акценты. По утверждению Н.С. Трубецкого, главный грех современной европейской цивилизации состоит в том, что она «стремится во всём мире нивелировать и упразднить все индивидуальные национальные различия, ввести повсюду единообразные формы быта, общественно-государственного устройства и одинаковые понятия. Ломая своеобразные духовные устои жизни и культуры отдельного народа, она не заменяет и не может заменить их никакими другими духовными устоями и насаждает только внешние формы быта, покоящиеся лишь на материально-утилитарных или рационалистических основаниях» [10]. Острие критики Запада направлено у Трубецкого в иную плоскость. Он не «исповедует яростный гнев против романо-германских народов» (р. 5). Высказывания Трубецкого, которые могут дать основание для вывода о его враждебном отношении к западной культуре, — реакция (несколько запоздалая к 30-м годам) на формирование в конце XIX века «однополюсного мира» с центром в западной Европе.

Если суммировать «реальную концепцию культуры» Трубецкого, многочисленные определения Евразии и его утверждения о противостоянии евразийского и романо-германского миров, получится достаточно причудливая картина. В «Структуре и тотальности» она излагается следующим образом. Народы как общности включаются в иерархическую комплексную и открытую систему: и в Евразии, и в романо-германском мире каждый народ связан

общими чертами с большей общностью. С другой точки зрения, «задана верхняя граница этого континуума, формирующая, таким образом, закрытые тотальности» (р. 52). Возникает «проблема континуального и дисконтинуального», двойной системы оценок. «С одной стороны, Трубецкой мыслит в терминах контакта, соседства, градации, выводя из них общее правило, но приводимые им примеры относятся только к народам Евразии. С другой стороны, когда речь заходит о сравнении романо-германской и российско-евразийской культур, он рассматривает культуры как герметически закрытые монады... Трубецкой ратует за идеал чистоты русской культурной традиции по отношению к романо-германской культуре... но он выступает за органичное слияние степной (туранской) культуры и степной (русской и финно-угорской)» (р. 52, 53). Действительно, Трубецкой нигде не указывает на критерии гомогенности внутри рамок романо-германского и евразийского миров.

П. Серио детально останавливается на телеологической стороне «ареальной концепции культуры» Трубецкого. Самыми интересными являются его замечания о глубоких расхождениях концепции с принципами формирующегося структурализма. Так, если лингвистический структурализм стремился преодолеть дихотомию синхронии/диахронии, то для Трубецкого и Якобсона дихотомия неприемлема как таковая. Их подход синтетичен, что заключалось в присущем им видении истории языков и культур: самоценные, самодостаточные культуры, языки и языковые союзы существуют рядоположенно, и каждый из них обладает собственной, уникальной историей и культурой (хотя в рамках языкового союза может существовать общая историчность языков). Кроме того, «резко контрастируя с присущим структурализму доминирующим видением, работы Трубецкого представляют собой философию истории, но со специфическим нюансом: это телеология, которая отвергает идею прогресса» (р. 56). Последний момент акцентируется на протяжении всей книги при рассмотрении истоков евразийства и современных лингвистических теорий. П. Серио подчеркивает, что Трубецкой воспринимал концепцию генеалогического древа языков как частную форму западноевропейской идеи линейного прогресса.

Отличительной чертой философии истории у Трубецкого является концепция времени. «Евразийство отмечено постоянным противоречием между философией истории, понимаемой на гегелевский манер как протяжённое развитие, где каждая нация в свою очередь и в своё время занимает доминирующее место в историческом процессе, и циклическим видением времени, где культуры выступают несоизмеримыми и взаимно закрытыми монадами. Этот конфликт между двумя видениями истории и времени оживил дискуссию вокруг структурализма в межвоенный период» (р. 58). Оценивая источник косвенного влияния на формирование евразийства, П. Серио анализирует общественные устроения в России конца XIX века. С его точки зрения, питательным субстратом, обусловившим и формирование евразийства, и его последующее распространение, явились два мотива, характерные для общественного мнения образованной части российского общества. С одной стороны, это усиленный русско-японской войной страх перед «китайщиной» (Мережковский) и «азиатщиной», восприятие Азии как тёмной, уг-

рожающей силы (концепция евразийства играла в данном случае роль своеобразного психотерапевта, снимающего комплекс). С другой — неприкрытое презрение и «левых», и «правых» к такому культурному феномену, как «мещанство». Данное обстоятельство вкупе с духовным европейским кризисом 20-х годов, апофеозом которого стал шпенглеровский «Закат Европы», привело к «смещению перспектив»: «врагом по-прежнему выступает буржуа, погружённый в свой комфорт и материализм, но этот буржуа отныне — единственно лишь европейский буржуа» (р. 75). Отсюда и двойственное восприятие евразийцами революции 1917 года, восприятие, которое определило их расхождение со значительной частью российской эмиграции. Если, отмечает П. Серио, «большевизм и марксизм рассматриваются как худшее следствие западной (или, точнее, «романо-германской» культуры)», то сама революция воспринимается как неизбежный катаклизм, как «очищение, обновление, восстановление истинного степного духа, присущего русской культуре, и точка отсчёта процесса усиления могущества Евразии» (р. 58).

Большое внимание автор уделяет «вопросу границ», используя это понятие в анализе и чисто лингвистических моментов творчества евразийцев, и общей методологии, и при обсуждении их политологических взглядов. Действительно, речь идёт о понятии, на котором строится весь евразийский дискурс. «Евразийство прежде всего есть попытка пересмотра конфигурации границ, перестройка общностей, объявляемых ложными или мнимыми (например, «славяне») в пользу других, полагаемых более реальными в силу «органичности» (например, «евразийцы»)» (р. 60). Идея особой самобытности Евразии, вылившаяся в «теорию закрытых историко-культурных типов» (определение самого П. Серио), приводит евразийцев к выводам о замкнутости России–Евразии по отношению к западному миру. В этом, отмечает П. Серио, подход Трубецкого проявляет себя «более субстанциалистской, нежели структуралистской концепцией культуры, которую можно «реформировать» или «заимствовать», как если бы культуры являлись вещами» (р. 64). Эта теория (если только правомерно выделять в качестве теории ключевую идею, пронизывающую всю концепцию) строится на соединении лингвистических данных (теория «языкового союза») и данных экономической географии Савицкого.

Поэтому естественно, что значительная часть книги посвящена истории этого ключевого для евразийской лингвистики понятия — от его появления в первых работах Трубецкого до впечатляющего плана Якобсона, поставившего своей целью обосновать, опираясь на фонологию Трубецкого, онтологическое существование Евразии–СССР как цельного органического единства. Производя, по его собственному выражению, «археологию» работ Якобсона, П. Серио стремится выяснить основной с точки зрения предпринятого им исследования вопрос — является ли теория фонологических союзов по своей сути структуралистской. Для этого необходимо предварительно решить, представляет ли собой конструкция Якобсона систему или нет. Можно ли говорить о языковом союзе как о системе, если в единую структуру объединяются по признаку наличия общих черт (отсутствия политонии, например) различные языки? «Если этот новый тип системы не является языком, то что же это такое? В чём языковой союз евразийских языков представляет собой

систему?» (р. 106). «Если он является системой, необходимо допустить либо то, что система может оказаться способной определять себя лишь через единственную структурную черту (например, палатализацию), в чём нет ничего систематизирующего, либо, напротив, через накопление совпадений материальных, позитивных черт, в чём нет ничего структурного» (р. 110).

Действительно, языковой союз являлся более социокультурным, культурно-историческим, нежели лингвистическим понятием в силу того, что в рамках некоего общего единства группируются различные, зачастую генетически не родственные, языки. Введение фонологического аппарата привело к расщеплению языковых семей, ранее рассматривавшихся как нечто единое. Понятие границы становилось размытым; в концепции Якобсона внутрисистемные фонологические черты распространяются за пределы систем. «Вопрос границ» не только имплицитно содержался в евразийской лингвистике, но и выступал одним из центральных. Речь идёт о границах между языковыми союзами, с одной стороны, и о границах (и проблемах взаимоотношения) различных языков в рамках самого языкового союза, с другой. Изыскания евразийской лингвистики оказались в центре поисков европейской лингвистики, для которой в этот момент были характерны усиленный интерес к «проблеме границ» и нарастающее сближение таких ранее отдалённых друг от друга наук, как география и лингвистика. Отмечая, что геолингвистика «обязана своим происхождением внутреннему кризису в лингвистике последней трети XIX века» (р. 111), П. Серию называет и иные факторы, повлиявшие на её развитие как науки. «Проблема границ», принимавшая в первую очередь форму проблемы континуального и дисконтинуального между языками или диалектами в рамках отдельного языка, носила не только академический характер, но была тесно увязана с идеологическими конфликтами своего времени. Как это часто бывает, в чистую науку (лингвистику) вторгается чужеродный элемент прикладной политики с идеей установления «естественных границ» между государствами.

Российского читателя наверняка заинтересует развёрнутый экскурс в историю становления и формирования геолингвистических концепций (глава IV). Поиски евразийских лингвистов сопоставляются в этой главе с работами представителей французской и немецкой школ геолингвистики. Происходящую в европейской лингвистике смену парадигмы П. Серию излагает «...в терминах... не употреблявшихся в эту эпоху: противостояния концепции номинализма концепции реализма в вопросе отношения языка/территории...» (р. 112). К номиналистскому направлению он относит стремление описывать различия, индивидуальные факты и самые тонкие нюансы; лингвистический реализм или эссенциализм заключается «...в поиске того общего, что стоит за различиями: Единого, стоящего за Множественным, в реконструкции Типа, Архетипа или Сущности» (р. 112). Высказанное Бердяевым в адрес евразийцев обвинение в номинализме П. Серию считает несостоятельным. По его мнению, евразийскую лингвистику логичнее квалифицировать как «софистический реализм» или же «динамический эссенциализм». «Здесь никакая каузальность не полагается заранее, напротив, во имя экспликативной теологии это отношение (язык-территория. — М.К.) в действительности является поворотом к новому типу натурализма. Мы уже видели, что в Западной Европе

противостояние позитивизму осуществлялось во имя человеческой свободы и отказа от детерминизма. В Пражском кружке, и преимущественно у его русских членов, человеческой свободе нет места. Сходства между сериями генетически не связанных феноменов восходят скорее к неоплатоническому видению мира, в котором тотальности проявляются в связи частей с целым. Вывести на первый план связь этих частей – такова цель «структурной науки» «пражских русских» (р. 137). Вероятно, сопоставление в одном абзаце позиции евразийцев с целым набором интеллектуальных направлений европейской мысли объясняется тем, что для П. Серио ряд положений евразийской лингвистики — в первую очередь понятие языкового союза — представляет определённый парадокс. Он задаётся вопросом: каким образом культуры, взаимодействующие, смешивающиеся, обогащающие друг друга (то есть составляющие сумму открытых систем), могут в своей целостности формировать закрытую систему, замкнутую по отношению к «романо-германскому миру»?

Эта «странная топология» может получить объяснение, по мнению П. Серио, только в контексте зародившегося в антропологии, а затем распространившегося на всю сферу наук о человеке спора эволюционизма и диффузионизма. В 20-е годы в европейской лингвистике органицистская парадигма переживает глубокий кризис. Лингвистическое сообщество отходит от шлейхеровских идей, акцент исследований переносится с *Urschprache* на проблемы гибридизации, смешения языков. В этом историко-культурном и интеллектуальном контексте «русская лингвистика 20-х годов вовсе не являясь исключительным феноменом, глубоко входит в общеевропейский спор об эволюционизме, она выступает локальным ответом на гораздо более широкую общеевропейскую проблематику, в рамках которой ставился вопрос о границах между естественными науками и науками социальными» (р. 139).

Глава V вызовет, на наш взгляд, большой интерес у самых широких (независимо от профессиональной принадлежности) слоёв российских читателей. П. Серио предпринимает интересную попытку представить общеевропейский спор эволюционизма и диффузионизма на примере принадлежащих к двум совершенно разным *air du lieu* концепций: евразийства и марризма, рассматриваемых как два лингвистических антипода, базирующихся на органицистском релятивизме и детерминистском эволюционизме. Примечательно, что он пытается обнаружить — несмотря на всю кажущуюся парадоксальность задачи — и общие моменты в развитии этих течений. На первый взгляд, задача невыполнимая. Построения Н.Я. Марра — впечатляющая своей глобальностью теория линейной эволюции языков, единая для всех языков мира, протекающая через последовательность жёстко детерминированных стадий. Наследие Трубецкого — идея «закрытой системы», в рамках которой взаимодействуют различные языки; каждый из них уникален, и ни о какой эволюционной градации, ранжировке по уровню развития не может идти и речи.

П. Серио стремится показать, как марровская и евразийская лингвистики «вышли из одной шинели». В их основе лежали кризис исторической и компаративной лингвистики, отказ от генетической теории, но поиск новой парадигмы осуществлялся в различных направлениях. Обе школы пытались

решить ключевой вопрос, вставший перед лингвистикой того периода, – вопрос близости генетически не связанных языков. Евразийцы, остроумно замечает П. Серิโอ, искали ответ в пространстве, объясняя сродство¹ языков контактами, тогда как марристы — во времени (сродство объясняется тем, что различные языки в данный момент проходят через одну ступень эволюции и это обуславливает наличие в них сходных элементов).

«Если факты сродства языков могут происходить не от общего корня (генетическая теория), то возможны два вывода:

— эволюционистский: независимое появление сродства в различных местах посредством параллельной и независимой их эволюции... В таком случае речь идет о сродстве различных систем в рамках одного типа. Это тезис Марра;

— диффузионистский: появление сродства через пространственный контакт и диффузию. Это евразийская теория. Среда (как физическое и культурное окружение) играет определяющую роль, но она вступает в противоречие с дорогой Трубецкому идеей "внутренней логики эволюции"» (р. 162-163).

Главной чертой, объединяющей искания марристов и евразийцев, П. Серิโอ считает их номологические устремления, желание обнаружить единый универсальный закон исторического развития языков. «Дети прошедшего века, гегельянства и немецкого романтизма, они верят в философию истории. Для тех и для других эволюция не может быть непоследовательной или случайной, её движение детерминировано» (р. 158). Но к установлению *Lex Universalis* они идут различными путями. При этом, отмечает П. Серิโอ, объяснять разницу в векторах их научных поисков расхождением исходных базовых посылок (идеализма и исторического материализма) было бы непродуктивно. Хотя евразийцам присуща вера в «имманентные законы» эволюции, сама эволюция у них подчинена географическому детерминизму. Концепция Марра построена на истматовском социоэкономическом детерминизме, но «...в то же время последовательность стадий настолько принудительна, что создаётся впечатление присутствия при процессе, который движется исключительно сам по себе, что является определением органицистской мысли» (р. 158). Именно поэтому «...евразийцы парадоксальным образом оказались намного ближе к сталинской теории слияния народов и культур, нежели марристы» (р. 164).

Возвращаясь к вопросу о «локальной эпистеме», П. Серิโอ отмечает: «несмотря на декларации, марристы и евразийцы не создали ничего, что являлось бы, с эпистемологической точки зрения, иной наукой. И те и другие принадлежат более духу времени, нежели духу места... Евразийцы соучаствуют в рождении европейского структурализма, марристы (преимущественно через школу Мещанинова) — современной типологии» (р. 166).

Завершив сравнительное описание евразийцев и марристов (или, если угодно, русского варианта спора диффузионистов и эволюционистов), П. Серิโอ переходит к анализу понятия, являющегося ключевым не только для лингвистики, но и для культурологических взглядов «пражских русских». Это «языковый союз», вводя которое «Якобсон и Трубецкой, каждый в присущей ему манере, предложили смещение перспектив в классической про-

блеме между языками» (р. 171). Отвергая генетическую модель компаративной лингвистики, Якобсон и Трубецкой ничем не выделялись из критически настроенного по отношению к жёсткой шлейхеровской модели лингвистического сообщества того времени. Новым был только подход к проблеме отношений между языками.

Чтобы глубже вскрыть расхождение, автор углубляется в «археологию» термина *affinité*. Для читателей-лингвистов несомненно представит большой интерес развёрнутый очерк вкладываемого в этот термин содержания — от позднего Рима (латинская этимология) до раннего Якобсона (в качестве французского эквивалента слова «сродство»). П. Серию полагает, что в фонологической концепции Якобсона совершена «инверсия системы ценностей» (р. 188). Якобсон неоправданно, как утверждает автор, ставит приобретённые явления сходства выше наследуемых, рассматривая только явления, приобретённые через смешение, через контакт. В основе фонологии Якобсона лежат, по мнению П. Серию, натуралистские, биологические по своей природе, посылки. Их наличие он видит в том, что развитие явлений межъязыкового сродства «основывается на преформационистском принципе: языки смешиваются не путём адаптации, но через рудименты уже заданного, в них существующего» (р. 189), они «обнаруживают сходство лишь потому, что предрасположены к этому» (р. 190). П. Серию считает, что Трубецкой и Якобсон опирались, подобно Шлейхеру, на биологическую метафору, которая «носила ярко выраженный антидарвиновский характер» и была теснейшим образом увязана с чисто русским восприятием дарвинизма» (р. 194). Исследованию «биологической модели» в творчестве Трубецкого и Якобсона посвящена целая глава. По суровому приговору П. Серию, характерный для евразийцев комплексный социокультурный подход, используемый при анализе и лингвистических феноменов, и культурных артефактов народа, и особенностей его истории и «месторазвития» (Савицкий), приводит к органицистской по своей сути метафоре организма, пребывающего в состоянии симбиоза с окружающей средой. Поэтому, заключает он, «мы по-прежнему находимся в сфере естественных наук: натурализации подверглась даже культура (р. 211)».

Именно в этом ключевом для евразийства понятии «месторазвития» в евразийской идее связи динамики социокультурных процессов и географической обстановки П. Серию стремится обнаружить диалектику понятий «структуры» и «тотальности» у членов Пражского кружка. Говоря о полной неправомерности предъявляемых в адрес евразийцев обвинений в «географическом детерминизме», П. Серию отмечает, что, в отличие от, например, действительного географического детерминизма Ратцеля, у евразийцев речь идёт о взаимодействии человека и географической среды, но никак не о детерминации жизнедеятельности социума природной средой. «Оригинальность, или, точнее, лейтмотив евразийцев заключается в настойчивом проведении идеи существования связи между социо-исторической средой и географической обстановкой; они при этом не вводят причинно-следственные связи, но настаивают на понятии симбиоза, органической тотальности» (р. 214). Сравнивая взгляды Савицкого и других евразийцев с различными модификациями «теории месторазвития», наблюдавшимися на протяжении

нескольких веков, автор «Структуры и тотальности» неоднократно указывает на «идеологическую составляющую» подхода евразийцев. «Образ мышления евразийцев гораздо более, нежели у Жана Бодена, тяготеет к платонизму. Таким образом, необходимо определить каждому своё место и осуществить в человеческом общежитии то гармоническое равновесие, которым Бог отметил свой мир, но при этом народ должен не столько адаптироваться... к окружающим условиям, сколько осознать своё настоящее место на Земле, не стремясь, например, выделиться из состава великой Империи, территория которой соответствует её естественным границам» (p. 219).

Хотя Савицкий и не был лингвистом, именно ему принадлежит приоритет в выражении основных идей, впоследствии составивших ядро евразийской лингвистики. В 1929 году он предпринял сравнение диалектических изоглосс русского языка и изотерм климата и констатировал сильную корреляцию с границами их распространения. На основании данных экономической географии и лингвистики Савицкий провёл «демаркационную линию», разделяющую по диагонали северо-запад/юго-восток. Линия рассекла зоны, резко различающиеся между собой в экономическом (тип крестьянского хозяйства), климатическом и лингвистическом (разделение диалектов на характерные для юго-запада фрикативные задненёбные звонкие и северо-восточные взрывные задненёбные звонкие) отношениях. Подход Савицкого П. Серию обозначает как «метод взаимовязки» (так мы рискнём перевести *méthode du liage*).

Одна из основных черт евразийской лингвистики, по П. Серию, – присущая её методологии и общим установкам внутренняя гармония. Когда научный дискурс приводит к фактам совпадений лингвистических феноменов у родственных и неродственных языков, за понятием «совпадения» у «пражских русских» «...речь ни в коей мере не идёт о феномене, обязанном своим происхождением случаю, произвольной встрече различных по своей природе элементов, но именно проявлению скрытого порядка, управляющего расположением феноменов. Пражские русские очарованы царящим в мире грандиозным порядком тотальностей, они не допускают ни беспорядка, ни отсутствия, ни неполноты» (p. 230-231). Но это *brave new world* — мир множества сосуществующих тотальностей. На стыке 20–30 годов в работах Трубецкого и Якобсона всё чаще появляется понятие «зон», которое П. Серию предлагает рассматривать в качестве смягчённого варианта «закрытых социокультурных типов» Данилевского. Будучи последовательными антиэволюционистами, Трубецкой и Якобсон отказываются от шкалы линейного времени. «Природа обладает собственной историей, и каждое месторазвитие — собственной историей, несовместимой с прочими» (p. 232).

Похоже, «очарованию царящего в мире грандиозного порядка тотальностей» поддались не только «пражские русские», но и сам П. Серию, который излагает «рождающуюся в Праге структуральную науку, основанную на платоновском или пифагорейском видении мира» под углом зрения эстетики, тяготения евразийцев к симметрии и «геометрическому видению мира». Впрочем, этот пассаж (p. 230-250) настолько интересен, что многие, может быть, и не обратят внимания на авторский приём в изложении материала. К сожалению, рамки короткого обзора не позволяют представить ту богатую

фактуру, на которой автор иллюстрирует «теорию совпадений» евразийцев. К тому же без приводимых им схем (иллюстрирующих климатическое и растительное зонирование Евразии, отношения центра и периферии, распределение моно- и политонических языков по Якобсону и т. д.) воспринять материал достаточно сложно. По мнению П. Серио, для евразийцев идеология играет гораздо более значимую роль, нежели наука: «продвигать науку вперёд должны не открытия [новых] фактов, но новое видение, которое позволяет взглянуть на факты иначе. Они полагают возможным объединённое знание на основе единой идеологии» (р. 258). Главной чертой евразийства как «симфонической теории» (р. 260). П. Серио считает его интегрированный, синтетический характер. При этом, отмечает он, в евразийстве имеет место предзаданность объекта исследования. «Это далеко от идеи о том, что «точка зрения создаёт объект», основополагающее предположение состоит в том, что Евразия существует. Таким образом, изучение объекта имеет своей целью не проверку факта существования Евразии, но подтверждение всеми средствами её гармоничной и органической тотальности» (р. 259).

В «симфонической теории» евразийства синтез выступает высшим этапом научного познания. Как пишет П. Серио, «одним из источников вдохновения «пражских русских» был также Шеллинг и немецкая *Naturphilosophie*. В отличие от Франции, русский культурный мир никогда не прерывал тесной связи с этой частной чертой немецкой культуры, которая очень быстро была подвергнута переоценке и потеряла влияние во Франции под воздействием позитивизма» (р. 264). Но речь идёт — следует оговорка — действительно об источнике вдохновения, не более того. Ни Трубецкой, ни Якобсон не были прямыми представителями *Naturphilosophie*. П. Серио цитирует опубликованную в журнале «Славяноведение» переписку Трубецкого с Савицким, в которой Трубецкой выражает сомнения по поводу самого существования синтетической науки. Но переписка датируется 1930 годом, временем кризиса евразийства, а до того Савицкий и Трубецкой «приходят к выводу, что, если Евразия существует, если она является органической тотальностью, она может быть определена и изучена только в терминах синтетического, не структурального метода» (р. 266). Поэтому смысл научной программы евразийцев заключается в «поиске скрытого смысла вещей, который ослеплённому генетическими или механистическими предрассудками взгляду может предстать только в виде несовершенного образа. Отсюда и значимость взгляда, охватывающего тотальность фактов, которые, будучи рассмотрены в их единичности и бесконечной множественности, не обладают смыслом» (р. 268).

Этот подход находит своё завершение в разработанной Трубецким персонологии, координирующей и направляющей развитие всех остальных наук, каждая из которых способна только к неполному, неадекватному знанию. Её предметом выступает народ как «многолическая личность». Показывая, что осуществлённое Трубецким слияние в понятие личности индивидуально и коллективного начал вполне соответствует духу времени, П. Серио обнаруживает множество общих черт во французском персонализме (в первую очередь, Эмманюэля Мунье и Габриеля Марселя) и в философии Макса Шеллера, чьё понятие *Gesamtpersonne* (коллективная личность) близко по содержанию к «многолической личности». Очевидно, в силу концептуальной

значимости персонологии в наследии Трубецкого П. Серии ищет её корни не в современных интеллектуальных течениях и даже не в пифагорейском или платоновском наследии, но в столь важных для православия догматах Троицы и Воплощения (р. 273).

Евразийская теория тотальности, евразийский холизм рождаются, по П. Серии, в противостоянии позитивистским и натуралистским тенденциям времени. История этого процесса извилиста и противоречива, способна порождать ложные интерпретации, и потому автор стремится проследить её во всех деталях. Демаркация научных направлений в лингвистике той поры, классификация отдельных авторов и концепций крайне сложны как из-за двусмысленности употребляемой терминологии, так и по причине отсутствия чётких границ. К примеру, понятие линейного прогресса человечества, выступавшее краеугольным камнем позитивизма, было совершенно чуждо евразийцам, настаивавшим на уникальности каждой культуры, невозможности установления применительно к ним какой-либо «цивилизационной шкалы» развития. С другой стороны, «идея того, что общество представляет собой целое, несводимое к сумме частей, обнаруживается и у Конта, и у Дюркгейма» (р. 281).

В лингвистике этого времени последовательными позитивистами выступали представители неограмматической школы, декларирующие изучение исключительно наблюдаемых фактов и установление абсолютных законов, чуждых всякой метафизике. С позиций характерного для Якобсона и Трубецкого холизма их искания выглядели, естественно, «атомизмом» и «механицизмом». Натуралистское течение в европейской лингвистике связывается с именем Шлейхера, который «рассматривал языки как естественные, живые организмы, которые независимо от человеческой воли рождаются, скрещиваются, развиваются в соответствии со строгими законами, затем стареют и умирают (р.285).

Евразийская лингвистика в лице Трубецкого и Якобсона противостояла обоим этим течениям (в силу указанной выше размытости и неопределённости границ в большинстве случаев правомерно говорить скорее не о научных течениях, а о стиле мышления отдельных лингвистов). «Якобсон предпринимает многократные попытки (не только в 20-е и 30-е годы, но и позднее) противопоставить «новую науку» как позитивизму, так и натурализму, в большинстве случаев отождествляя эти понятия» (р. 282-283). Поэтому в шлейхеровском понимании лингвистика с её исследованием эволюционных законов приближается по своей методологии к естественным наукам.

Атаки на Шлейхера предпринимали тогда многие западноевропейские лингвисты. Но Якобсону натурализм Шлейхера представляется большим злом, нежели позитивизм неограмматиков, и нападает он на него с большим ожесточением. (Правда, порой он отождествляет позиции неограмматиков и натурализма, и отдельные его критические выпады в равной мере можно отнести к обоим направлениям.) Кроме того, ряд основополагающих тем шлейхеровского натурализма Якобсон не затрагивает вообще. С другой стороны, он упрекает Шлейхера в том, что тот «сущностно асистематичен», тогда как для многих лингвистов (например, Соссюра) именно системность метода являлась основной характеристикой Шлейхера. Но главное отличие

позиции Якобсона от обычной антишлейхеровской критики того времени прослеживается в его оценке генетической теории. «Упрощающей генеалогии» Шлейхера Якобсон стремится противопоставить «социологическую ориентацию современной лингвистики» (р. 288).

П. Серию полагает, что позиции Трубецкого и Якобсона «находятся в крайней точке соприкосновения двух различных парадигм: с одной стороны, теории комплексных систем, постигаемых через нематериальное, и с другой — теории Единого и Целого, наследуемых от *Naturphilosophie* и неоплатонизма византийского мира» (р. 288). При этом, по его мнению, модель, на основе которой они строят теорию конвергенции, является неприкрыто натуралистской. Теория конвергенции Якобсона с такими её характеристиками, как акцент на изучение контакта, «пространственного фактора» явно диффузионистская. Но от работ современников-диффузионистов теория конвергенции отличается отсутствием двух существенных моментов: «идеи неизобретательного характера человеческой природы (изобретение не может осуществиться дважды в двух различных местах, оно может быть только заимствовано) и атомистического характера фактов диффузии» (р. 290). Главное же отличие евразийской лингвистики от диффузионистских теорий состоит, по мнению П. Серию, в «неслучайном характере географии пространственного распространения типологических фактов (независимо от генетического происхождения (языков. — *М.К.*))» (р. 290). Фонология носит, таким образом, межсистемный характер. Между различными языками существует связь, определённое притяжение. Но никаких причин, объясняющих этот факт, Якобсон не приводит. «Критикуя биологическую модель Шлейхера и его непоследовательность, Якобсон предлагает антимодель (в которой ключевыми словами являются конвергенция, теология и пространственный детерминизм), опираясь на определённую биологию и определённую географию, и не замечает (или делает вид, что не замечает) того, что речь идёт о новом типе натурализма, весьма забавной концепции «социальных наук», имеющих дело с обществами, которые рассматриваются как организмы, подчинённые биологическому детерминизму» (р. 291).

Аналогичную оценку П. Серию даёт и Трубецкому с той лишь разницей, что у него натурализм и органицизм проявляются в значительно большей степени в культурологических, нежели собственно лингвистических текстах, и выражены более явно. Упомянув, что Трубецкой нигде не говорит об индивидуе (но только о «членах социального организма»), об обществе (но о племени, народе, нации), П. Серию заключает: «Фундаментальной категорией (Трубецкого. — *М.К.*) является категория тотальности... "Тотальность" и "организм" в этой сумме текстов выступают синонимами, дополняемыми зачастую прилагательным "естественный"» (р. 294). Органическая тотальность Трубецкого представляет собой множественность входящих в её состав общностей меньшего порядка: Евразию формируют множество народов и этнических групп, которые, в свою очередь, делятся на составляющие низшего порядка. «У Трубецкого человечество разделено, но каждое являющееся следствием этого разделения единство цельно и гармонично. В противоположность миру Бахтина, мир Трубецкого ставит несхожее внутри внешней формы» (р. 295).

Характеристики органической тотальности позволяют выдвинуть ещё одну версию истоков натурализма в структурализме Пражского кружка. «Наблюдая постоянно употребляемые пары оппозиций, «механическое/органическое», «индивид/член национального организма», нельзя не вспомнить об антипросветительском дискурсе, в частности, о социальном консерватизме французского контрреволюционного католического легитимизма» (р. 296-297). П. Серио имеет в виду, в первую очередь, Ж. де Местра и Л. де Бональда. Впрочем, он оговаривается, что, поскольку Трубецкой по обыкновению не цитировал источники (за исключением прямых ссылок), а Яacobсон во всех своих трудах не процитировал ничего, кроме одной строчки из де Местра, то высказанная идея — не более чем предположение. Впрочем, «даже если Трубецкой с Яacobсоном никогда не читали Л. де Бональда, они читали людей, которые его читали, или тех, кто был погружён в один поток идей...» (р. 298). Для П. Серио несомненно сходство евразийцев и этих двух представителей католического легитимизма, выдвигавших идею органического единства социального тела, единства столь всеобъемлющего, что его нарушение влечёт за собой гибель всего общества. Де Местра и де Бональда, с одной стороны, и евразийцев, с другой, объединяет, по мнению автора, некий консервативный, «охранительный» дискурс, направленный на сохранение статус-кво. «Релятивистский дискурс Трубецкого в действительности смахивает на дискурс *ad hoc*, имеющий целью в равной мере как оправдать колонизацию Сибири и Центральной Азии, так и подчеркнуть и углубить разрыв между «Россией» и «Европой», разрыв, впрочем, настолько воображаемый, что евразийцы вынуждены были искать его обоснование в природе при помощи теории *Landschaft'a*» (р. 298).

Данный отрывок — далеко не единственный, где П. Серио говорит об евразийстве как об идеологическом обосновании колониальной политики Российской империи, что дало основание Сергею Зенкину, автору статьи «Лингвистический романтизм и "русская идея"», упрекнуть его, во-первых, в идеологической предвзятости суждений, во-вторых, в аналогичном грехе «теории *ad hoc*»: «Основная схема восстанавливаемой Патриком П. Серио научной и общественной мысли достаточно знакома, по крайней мере русским читателям (впрочем, книга написана как раз не для них). Хотя автор и избегает выражений «имперская идеология», «русский национализм» и т. п., евразийская теория языка описывается у него именно как вариант русской имперской идеологии. Это теория с заранее заданным выводом, под который она пытается подвести научную базу» [4].

Помимо сторонних интеллектуальных влияний на формирование евразийского холизма и тотальности П. Серио стремится обнаружить истоки и в общегносеологических подходах самих «пражских русских». Он возвращается к мысли о евразийстве как теории *ad hoc*, о предзаданности получаемых на её основе выводов. Объект познания как таковой эмпирически не существует вне самого процесса познания; Соссюр это выразил в афористичном высказывании «Именно точка зрения создаёт объект». Но ни Трубецкой, ни Савицкий, ни Яacobсон, по мнению П. Серио, не склонны разделять реальный объект и объект познания. «Они представляют, к примеру, месторазвитие не как объект, выстраиваемый в рамках некоей теории, но как реальный объект,

существующий до начала исследования, которому только необходимо найти имя» (р. 299). Эта сторона евразийства — наглядный пример различия между моделью и типом; в первом случае объект конструируется в ходе самого процесса познания, во втором, в духе платонизма, предполагается наличие сущности, сокрытой за наблюдаемой нами реальностью. «Их объект дан заранее: это Евразия, объект, который вовсе не создан научной практикой как объект познания, но который, напротив, побуждает различные отрасли наук повторять... накопленные доказательства своего существования... Отрицая, или, скорее, игнорируя понятие точки зрения, она (евразийская теория. — М.К.) смешивает модель с реальностью. Различные серии феноменов, вступающие в отношения связи, мыслятся как исчерпывающие реальность, поскольку реальный объект предзадан, объект познания должен только лишь его подкрепить и подтвердить» (р. 300).

П. Серио повторяет высказанное в начале книги сожаление по поводу распространённого у ряда историков науки представления о Якобсоне и Трубецком как прямых наследниках сосюрсовской мысли. «Можно сказать, что для «пражских русских» характерно реалистское отношение к языку, тогда как у Соссюра отношение номиналистское: объект создается точкой зрения. Для Якобсона и Трубецкого структура имманентно содержится в вещах, у Соссюра она принадлежит лишь сконструированному объекту — языку-системе. Понятно при этом, что оппозиция «язык/речь» не имеет смысла для Пражского кружка... Для Соссюра язык — система, выстраиваемая лингвистом (эмпирическая реальность не улавливаема в своей тотальности), для Якобсона и Трубецкого язык — онтологически структурированный объект, формирующий тотальность, которая ждёт открытия со стороны лингвиста» (р. 303). П. Серио даёт своё классификационное определение наследия «пражских русских»: онтологический структурализм. С его точки зрения, научная практика Трубецкого и Якобсона предстаёт сочетанием эмпиризма и эссенциализма, и эта практика ещё не осознала себя в качестве структурализма: «Для Трубецкого и Якобсона языковой союз является не структурой, но тотальностью» (р. 305). Основные содержательные моменты евразийской лингвистики «относятся к холистическому видению накопления и глобальности, а не к системному видению структуры, в которой любое локальное изменение меняет систему» (р. 305). В этом холизме видения, довольно далёком от классического структурализма, и заключается причина того, что пражская фонология оказалась более плодотворной, нежели общая лингвистика Соссюра, дала больший импульс как последующему развитию лингвистики, так и применению структурных методов в других науках.

Подытоживая свои размышления о роли и месте Пражской школы в общеевропейском дискурсе эпохи, её вкладе в формирование европейского структурализма, П. Серио повторяет уже неоднократно высказывавшийся им на протяжении книги тезис о неоправданности притязаний членов пражского кружка на создание «принципиально новой русской науки». «Собственно русский вклад в структурализм нам видится в использовании географических интерпретаций в области истории языков, а также в использовании явно выраженного антидарвиновского течения в биологии, которое можно обнаружить в понятии «конвергенции» в рамках языковых семей у Трубецкого и

Якобсона. Именно из Западной Европы заимствована суть культурных и геополитических теорий евразийства — точнее, из Германии, откуда родом теория естественных территорий (Ф. Ратцель)» (р. 308).

У П. Серิโอ не возникает сомнения в том, что характерное для евразийцев противопоставление русской и романо-германской науки, двух культурных миров в целом само по себе является порождением романо-германского мира. Евразийцы выступили продолжателями круга идей, сформированного на основе немецкой философии XIX века. «Евразийство — аватара органицизма XIX века, вернувшегося в Европу в виде бумеранга ареальной лингвистики с геокультурными тенденциями» (р. 308). И то, что евразийцы принимали за сущностное противостояние двух непохожих миров, евразийского Востока и романо-германского Запада, в действительности являлось конфликтом двух последовательно сменяющих друг друга эпистем: рационализма и аналитизма Просвещения, с одной стороны, и синтетической науки Романтизма — с другой. Последовательный переход органицистской метафоры немецкого романтизма в понятие тотальности, а затем и в понятие структуры у Якобсона и Трубецкого не должен восприниматься ни как последовательный линейный процесс, ни как «эпистемологический разрыв» в виде куновской революционной смены парадигмы. Речь можно вести об общей тенденции, медленном и внутренне противоречивом процессе, которому присущи и периодические возвраты назад, и смены ориентаций. При этом «...мы присутствуем при рождении некоей теории: понятие структуры освобождается от доминирующего дискурса тотальности... Структурализм пражских русских функционирует в поступательно-возвратном движении, опираясь на предшествующее неограмматику понятие (организм) и в то же время отрицая его полностью (см. их утверждение, что «лингвистика есть социальная наука»); это трамплин для движения к современному понятию структуры» (р. 309).

К куновской идее «научных революций», кардинальных эпистемологических революций П. Серิโอ относится более чем скептически, неоднократно заявляя о её неадекватности истории лингвистики. Но это вовсе не означает, что «в поисках предыстории, «инкубационного периода» пражского структурализма необходимо придерживаться абсолютно континуалистских объяснений» (р. 310-311). Взамен П. Серิโอ предлагает иную модель становления пражского структурализма: модель маятника (рис.), предполагающую совершение в стороны зигзагов с последующим возвращением к исходной точке (но уже на более высоком уровне).

Пражский структурализм ведёт своё происхождение вовсе не от сосюровского понимания структуры, которое легло впоследствии в основу работ Женевской школы лингвистики. «Понятие структуры составляет часть романтической критики атомизма, анализа, соположения, разделения и т. д. Оно проходит через понятие тотальности как неизбежный этап» (р. 312). П. Серิโอ отмечает, что для пражской лингвистики понятие тотальности явилось эпистемологической преградой (в башлярском понимании этого термина), и эту преграду «пражским русским» преодолеть так и не удалось. Однако «понятие органической тотальности одновременно явилось и эпистемо-

логической преградой, и необходимым путём перехода к концепту структуры через посредство понятия системы» (р. 313).

Такое понимание «генезиса понятий» позволяет П. Серию завершить своё исследование следующей характеристикой роли евразийцев в интеллектуальной истории Европы XX века: «То, что действительно произошло в лингвистике, кардинальным образом расходится с тем, что Якобсон и Трубецкой изначально намеревались осуществить: то, что они рассматривали как эпистемологическое продвижение вперёд, основывалось на отказе от модернизационности. Однако это продвижение было реально, оно осуществилось, можно сказать, независимо от них. В поисках Индии они открыли Америку» (р. 313).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Seriot P.* Structure et totalité: Les origins intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.
2. *Серийо П.* Этнос и демос: Дискурсивное построение коллективной идентичности // Этничность. Национальные движения. Социальная практика. СПб., 1995.
3. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса: Пер. с фр. и португал. / Общ. ред. и вступ ст. П. Серию; предисл. Ю.С. Степанова. М.: Прогресс, 1999.
4. 2000http://www.russ.ru/ist_sovr/20000925.html
5. <http://www.rusmysl.ru/2000I/4301/430130-2000Jan20.html>
6. Мир России — Евразия. Антология / Сост.: Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская. М.: Наука, 1995.
7. Глобальные проблемы и перспективы цивилизации: Феномен евразийства. М.: Наука, 1993.
8. Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн: Антология. Русские источники современной социальной философии. М.: Наука, 1993.
9. *Орлова И.Б.* Евразийская цивилизация. Социально-историческая ретроспектива и перспектива. М.: Норма, 1998. С. 275.
10. *Трубецкой Н.С.* Вавилонская башня и смешение языков // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.: Прогресс, 1999. С. 331.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. *Affinité* — именно на таком традиционном для работ Якобсона переводе настаивает дающий транскрипцию русского термина П. Серию (р. 188